

Андрей Бычков

Пхова



*Часть сборника
Гулливёр и его любовь (сборник)*



Андрей Бычков

Пхова

«Автор»

2006

Бычков А.

Пхова / А. Бычков — «Автор», 2006

ISBN 978-5-457-12044-0

«Когда уже ничего нельзя было сделать и это означало, что все надежды теперь бессмысленны, когда уже нельзя было сделать ничего, он подумал, что, быть может, только теперь всё и начинается, потому что всё всегда должно начинаться по ту сторону надежды. „Я мертв“, – сказал он себе. Но был ли он действительно мертв?.. ...История, которая не знает, где я, которая находит того, кто ищет, находит, чтобы сама о себе рассказать.»

ISBN 978-5-457-12044-0

© Бычков А., 2006

© Автор, 2006

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

10

Андрей Бычков Пхова¹

Когда уже ничего нельзя было сделать и это означало, что все надежды теперь бессмысленны, когда уже нельзя было сделать ничего, он подумал, что, быть может, только теперь всё и начинается, потому что всё всегда должно начинаться по ту сторону надежды. «Я мертв», – сказал он себе. Но был ли он действительно мертв?

О рождении девочки ему сообщил их общий приятель, которому он как-то под кайфом что-то такое сказал, что тот догадался. И потому приятелю было приятно сообщать ему и о предложении немца, и о браке, а теперь и о рождении девочки.

Глядя в эти скорбно-радостные глаза сообщающего, отводя взгляд, он подумал, что теперь эта невозможность оставляет его с ней навсегда. Её девочка, её его чужой ребенок будет расти, как смерть. Большая смерть или маленькая – это, в общем-то, всё равно, потому что для смерти все всегда остаются рядом.

Он вспомнил женщин, которые у него были после неё и ради которых он приходил сюда, к этому своему приятелю, хозяину этой квартиры, открытой квартиры для всех. Они были разными, эти женщины, но Айтэ оставалась одна, и он никак не мог об этом забыть, о том, что Айтэ – одна, да, скорее всего, и не хотел. Быть может, он и в самом деле был мазохист, так сказал ему его отец, что ему нравится умирать от любви, вот он и умирает.

Он знал, что поступил правильно, избежав этого брака, брак был бы равносильен смерти, но и отказ от союза оказался смертелен. Тогда он подумал, что, быть может, любовь – это и есть смерть. Но умирать и быть мертвым – это ведь не одно и то же.

Теперь ему оставалось только смириться и быть мертвым, если он больше не хотел умирать. Но ведь это не так просто.

Он вспомнил, как они зашли с отцом поссать в какую-то подворотню, и он рассказывал, какая она сучка и какая сучка её мать, как он расплачивался за их такси, и Айтэ пеняла ему за то, что у него не было мелких денег и ему пришлось подниматься на второй этаж, оставив их в машине дожидаться, пока он не разменяет свою последнюю десятидолларовую купюру, чтобы расплатиться с шофером, чтобы поднять потом на второй этаж её и её мать, мать Айтэ, и ждать, как швейцар, пока её мать напьется вина, чтобы увезти её обратно, потому что Айтэ не сможет увезти обратно свою мать, потому что Айтэ уйдет в ночной клуб вместе с немцем. «И ты ещё хотел на ней жениться? – усмехнулся отец, застегивая ширинку. – Ты просто мудака, да, вот что я тебе скажу».

Лежа один на диване, он вспоминал теперь эту историю по-разному – и чтобы себя обвинить, и чтобы избавиться, он пытался себя оправдать и, наоборот, очернить, пытался утешить себя этой историей и возвратиться к самому её истоку, когда все еще было так легко и ничто не предвещало такого мучительного конца.

Иногда он думал, что умирать так – это значило ещё сохранять надежду, сохранять, не предпринимая ничего, замирая и оставаясь неподвижным, как в той гексаграмме из «Ицзин». Когда он случайно увидел Айтэ с немцем в метро, как они целовались на эскалаторе, он стоял на две ступени ниже и мог дотронуться рукой, мог толкнуть или ударить этого немца, сказать ему, что это его жена, и тогда она бы стала его женой, «Айтэ моя жена», и он еле сдержался, но не только побоявшись быть смешным перед ними обоими, быть раздавленным ею, еще одно, другое, странное чувство, которое он не знал как и назвать, удержало его. Он вышел в ночь, кусая губы, не понимая и понимая, отчего так больно, и слепой, возникший внезапно из темноты автомобиль едва не сбил его, а может быть, и сбил, и это уже не он остервенело набирал на телефонном диске номер немца, зная, что Айтэ там, в его постели, и так, через немца, подавая ей знак, знак своего присутствия, ведь однажды она сказала ему,

что он всегда звонит, когда вот-вот изменится судьба. Потом он захотел узнать, как быть и что это всё значит, и еще не знал другой магии, кроме «Ицзин», и бросил монеты. Тогда книга ответила, что отныне он должен замереть, застыть в своей неподвижности, и он заплакал. Это была гексаграмма номер пятьдесят два, и в комментарии к тексту указывалось на её особую значимость в буддизме.

Умирая в своем странном желании – чтобы снова что-то было между ним и Айстэ – и ничего для этого не предпринимая. Напротив, теперь при случайных встречах с ней, он держался холодно и отстраненно, удивляясь молчаливо в самом себе, что вот она, его любовь, так близко, рядом, та, которая всегда с ним, сейчас здесь, и от этого «здесь», и оттого, что это так странно, что она снова здесь, и оттого, что в этом нет ничего удивительного, быть может, от этого и не страдаешь или страдаешь не так тяжело, не так мучительно.

Он прекрасно помнил ту сцену, тогда на квартире у того своего приятеля, когда вернулся из Парижа. Он услышал её голос, который всегда его так глубоко волновал, неотделимый и отделенный от её эротизма, голос, существующий сам по себе, сам собой зачарованный и, быть может, потому чарующий других, их, других, зачаровывающий. Он перешел из комнаты в комнату и увидел её – в тонком, полупрозрачном египетском платье, красном с черными зигзагами, Айстэ, от любви к которой он умирал в этом проклятом Париже, зарабатывая франки на своем одиночестве. Она тоже увидела его и едва заметно кивнула, и он едва заметно кивнул ей в ответ. То, что они не виделись несколько месяцев после мучительного, оскорбительного для них обоих разрыва, словно ничего и не значило. Он опустился на диван рядом с чахлой женой приятеля и стал вполголоса рассказывать той про Париж, про то, что у него был там свой сад на Монмартре, где он снимал жилье, сад в четырех стенах четырех четырехэтажных домов, принадлежащий на время лишь ему одному. Краем глаза он следил за Айстэ и видел ее, Айстэ, движение, как она нарочито долго собиралась уходить и как осталась, он знал, что конечно же из-за него. И когда она равнодушно и словно бы случайно опустилась в кресло напротив, глядя в сторону, вслед своим длинным пальцам, вслед тонкой сигарете «Мог» и тонкой уходящей струйке дыма, он вдруг захотел сделать ей больно и сказал тихо, но так, чтобы она, Айстэ, слышала, сказал, наклоняясь к самому почти уху чахлой, как заветренная роза (так он подумал тогда про себя, хотя слово «заветренный» больше подходит к слову сыр, но ведь в конце концов он вернулся из Парижа), сказал ей, этой жене приятеля, что она ему там часто снилась и почему бы им не пойти вдвоем в ресторан, ведь теперь он так мучительно богат. Он видел, как Айстэ вздрогнула, он понял, что это настигло её, но зачем, зачем он это сделал, ведь, быть может, это была их последняя встреча, а разве он не любил её?

Но рано или поздно это должно было кончиться. И теперь, когда возникла эта девочка, эта чужая девочка, из чужого, не его (не его?!) семени – немца, о котором Айстэ, смеясь, говорила ему – «эта немецкая гадина»; немца, который был в конце концов разыгран для причины, чтобы поставить его к барьеру, чтобы он наконец решился и сделал ей предложение во второй раз, чтобы он женился на ней и на ее матери и как мужчина взял бы на себя тяжесть семьи... Так это было или не так, ведь ты рассказываешь себе эту историю по-разному? Теперь, когда возникла эта девочка... быть мертвым не всё ли равно как... Так это или не так?

Как тебе говорили, как надо накалить лезвие ножа и опустить в холодную воду, произнося слова заклятия, ведь каждое слово – это слово заклятия.

Так это или не так?!

Вот сейчас, вот сейчас, Айстэ, ты исчезнешь, и эта комната будет пуста, и каждая вещь в ней о тебе забудет, и в каждой вещи исчезнет твой звук, прости меня, Айстэ... Как ты смотришься в зеркало, скоро тебе ехать в ночной клуб, петь за деньги, кто-то будет крутить рулетку, жадно поглядывая на «зего», цинично разговаривая про твои ноги и постукивая в

такт, да, постукивая в такт. Это так странно, что, когда мы с тобой познакомились, когда нас познакомил мой друг, когда я поцеловал тебя в спину (или только посмел дотронуться?), ты была тогда ещё его женщина, это было, когда он спал, мы все были пьяны, когда... нет, не тогда, а потом, да, он уже уехал за границу, и мы встретились вдвоем и решили поехать ко мне, и ты боялась, и ты хотела, потому что ты как-то догадалась, что это должен быть я, и я тогда еще не знал, что это должен быть я, и это было время звезды, и все могло измениться от случайной причины, и тогда ты стала извлекать эти звуки, и это был твой ритуал, теперь я знаю, что это был твой ритуал, ведь ты не просто пела джаз, как это было смешно написано на твоих афишках, и ты стала извлекать эти звуки из всего, что было в моей комнате, я не говорю про те две хрустальные вазы, я не говорю про настенные часы, и про чайные серебряные ложечки, и даже про шерстяное шуршащее одеяло, и про иголки, и про нож, и про ту дурацкую резиновую игрушку, и про носки, и про воду в аквариуме, про самих рыб, которых ты тоже как-то сумела коснуться, я слушал и смотрел, как зачарованный, а потом ты стала петь одну ноту, всего одну длинную ноту, петь её, напевать, покачивая головой и посматривая на меня, как на том концерте, а потом другую, удлиняя ее и удлиняя, пока не показалась третья, не начала вызываться четвертая, у тебя был голос в три октавы, как у Сары Уонг, как у Сары Уонг. «Да нет, – сказала ты потом, – это не сложно, это совсем не сложно – петь так. Ведь рвать связки не надо, как их рвет попса, потому что есть дыхание и надо петь на дыхании, тогда не устаешь, но об этом знают немногие, и немногие могут научиться, и немногие к этому способны, к тому, что называют „фаланговым пением“». Через два часа тебе надо было ехать в ночной клуб, петь за деньги, петь перед этими квадратноголовыми, и у нас еще было два часа, целых два часа...

Знаешь, есть вещи, которых нельзя касаться, которые нельзя брать в руки, потому что эти вещи, как ты. Но они не как ты, а они как-будто как ты.

Каждый хочет от чего-то избавиться, каждый хочет что-то вернуть, каждый хочет пойти дальше. Есть имена Андрей, Александр, есть имена Борис, Глеб, Евсей, есть имена Федор, Григорий, Иван, Максим... Ряд обрывается случайно, никто не знает когда. Кончается жизнь, и имя становится ясным, ведь теперь оно уже не принадлежит человеку, камень, пространство, и видно далеко-далеко. Далек-далек не значит поле, далеко-далек не значит река, далеко-далек не значит Максим, но далеко-далек – это и река, и поле, и Максим.

Я где-то читал, что если долго повторять свое имя, то от него можно избавиться, а может быть даже, и от себя.

Давно-давно, Айстэ, когда тебя ещё не было, кем я был, свободный и никчемный, чего я хотел? Когда и ты жила ещё, не зная ничего обо мне, так странно устроена эта жизнь, где ничего изменить нельзя и где можно лишь возвратиться к началу, чтобы узнать, в чем причина. Давно-давно, Айстэ, когда ещё не было разрушено царство, когда я слышал пение и других птиц, когда высокий лес окружал, когда, взрывая неподвижность земли, стволы деревьев восставали из трав, когда их ветви переползали, девственно сочетаясь на высоте, когда то тут, то там стекало по стволам солнце, ртутью зависая в разрывах листвы, когда я шел среди низких близоруких, жадных до царапин кустов, чавкая и меся босыми ступнями мокрую черную грязь, сбивая палочкой незрелые ещё ягоды дикой вишни, когда брильянтовые священные мухи лениво дрожали в окладах луж и голубело небо в разлете листвы над головой, когда выползали на острые травы смешные летучие муравьи, давно-давно, разве я смогу вернуться в те времена, когда я ещё не знал этой узкой страсти – жадно смотреть, как проходите мимо вы в легких полупрозрачных платьях, вскрикивая и прижимая сквозь смех свой и стыд от ветра взвившийся было подол. Муравьиная травинка-кислинка, когда-

то ее можно было невинно сосать, глядя на девочку-зайчика с зеленым бантиком и с карими глазками. Может быть, и ты, Айстэ, когда-то и ты была такой же?

Это как сон? Да, это как сон. Научи меня, как мне тебе присниться, ведь ты все равно уходишь, а я всё преследую тебя. Как те два голубя, голубь и голубица, помнишь, она бежала на него и пробежала мимо и снова возвращалась и пробежала мимо, словно она говорила: ну же, ну же, ну что ты?

Но когда же я увидел тебя, именно тебя, в первый раз, я, твой Калибан и твой Ариэль? Вспомнить взгляд, с которого началась эта история, которую кто-то рассказывает себе каждый день, лежа на диване или зажатый в метрополитенной толпе, бродя по улицам, снова находя себя, чтобы потерять и чтобы снова найти у той реки, у той полуразрушенной башни, чья тень на воде, рассказываю себе каждый день, путая конец и начало, когда же, когда, так долго не отводя взгляда: „кто ты?“ – „а ты?“ – „какое ты имеешь право так долго смотреть мне в глаза?“ – „что ты за женщина – птица, кошка?“ – „опусти дерзкий взгляд!“ – „нет, это ты должна подчиниться!“ – „как ты смеешь так долго!“

Айстэ, Айстэ, может быть, вот сейчас и в самом деле все начинается, сейчас, когда я уже мертв. Кто, и кому, и о чем рассказывает здесь, где времени нет, и нет никакого дивана, ни темной улицы, ни этой реки с полуразрушенной башней на берегу?

Как ты, Айстэ, раздеваешь девочку и кладешь. И как она шевелит ножками, оглядываясь и ища над собой эти блестящие синие, красные круглые, с веселым потрескиванием изнутри, эти разноцветные погремушки, в которые можно толкаться ручками, толкаться ножками. Большие полные шары на белой резинке, что натянута поперек двух загоронок. Те твои фотографии, Айстэ, где ты склонилась к девочке и где ты стоишь, прижимая к себе свою малышку, те твои фотографии, которые настигли меня, когда я тебя искал, чтобы просить прощения, когда не помог мне тот нож, то раскаленное лезвие, фотографии в иллюстрированном журнале „Elle“: „Известная скрипачка и джазовая певица, экстравагантная noise-maker² в кругу семьи со своей маленькой девочкой“. Что это было? Моя неудавшаяся попытка. Тогда этот нож снова вошел глубоко, чтобы еще мучительнее было мое умирание. От любви к тебе, Айстэ, от любви к тебе.

Тот концерт, ты скажешь, что это был тот концерт, когда мы с тобой познакомились, Айстэ, когда нас познакомил мой друг. Ты была еще тогда его женщина, и ты передала мне в гардеробе номерок, и тогда проскочила эта невидимая электрическая искра, меня и в самом деле ударило электричество. Электричество, из которого состоит и молния, и смерть, и любовь. Тогда мы случайно коснулись пальцами, ты сузила зрачки, одиннадцать было вытравлено на номерке, и ты сказала про два счастливых числа – одиннадцать и тринадцать, и ты поднялась за кулисы, а я вслед за своим другом спустился в зал, чтобы ждать и чтобы потом с удивлением вслушиваться в эти странные звуки, когда ты то удлиняла, то укорачивала струну, а потом стала царапать деку своего инструмента и вдруг легко, божественно и виртуозно заиграла Вивальди, который, как ты потом мне со смехом сказала, был совсем не Вивальди, и был бы, быть может, вершина Вивальди, если бы не был тогда же тобой же небрежно симпровизированный концерт. Потом ты оставила скрипку, её опустив, её отпустив, чтобы твой магический голос наполнил пространство, разрастаясь и разрастаясь, завораживая сидящих, настигая их в их неподвижности, словно каждый в себе открывал другие пространства, чтобы забыть свою жизнь. И было достаточно одной-единственной ноты,

² Производитель шума (англ.)

бесконечно богатой, светящейся и пушистой ноты, что проникала и проникала сквозь темноту, летя и в самой себе множа эти пространства и вновь возвращаясь к темноте, вновь возвращаясь на свою траекторию медленного светящегося падения. Я помню, ты смотрела на меня, только на меня, я помню, только на меня, да, на меня, не отводя взгляда.

Джаз, джаз, это всё твой проклятый джаз...

В той гостинице тоже был этот джаз, в той гостинице, где вы остановились с матерью и куда я потом приходил, мучительно приходил, потому что не мог не прийти, потому что себе уже не принадлежал, приходил, чтобы идти, куда ты прикажешь, и ты смеялась и ты хлопала в ладоши, и я шел и покупал тебе чай, чай, чай...

Как твоя мать переходит из комнаты в комнату и как держит в руках черный тюльпан, и как она ищет, ищет и не знает, ищет, ищет и не видит, ищет, ищет и не может найти, и как то, чего нет, есть.

Здесь, где нет времени, где есть только этот голос и где я говорю „он“, зная, что он – это я, и что он – это не я, и что он – это и я, и не я, теперь здесь я вижу маленькую девочку с белыми, как у зайчика, ушами, которая бежит по коридору и прыгает на колени к своей матери, и эта маленькая девочка, Айтэ, – ты. И еще я вижу, как твоя мать поворачивается и как смотрит, и у нее длинный и острый клюв, да, длинный, острый и хищный клюв, а в руках черный тюльпан, и она смотрит, и она ищет, переводя эти узко посаженные глаза, раскосые с поволокой павлиньи глаза, и на лбу у нее вишневое пятно. Мой бедный друг, он слишком долго стоял на ветру, ничего не понимая и ни о чем не догадываясь, торгуя с лотка сигаретами, лишь бы твоя мать с урчанием по вечерам ела мясо, запивая его красным вином, нашептывая о шекспировской „Буре“ и о том, что и после смерти – Ромео – Ромео, что и после смерти – Джульетта – Джульетта, что и после смерти мертвые продолжают любить друг друга там, в нигде. Черная птица с длинным клювом, когда-то и она хотела стать счастливой и сама была маленькой девочкой с мечтами о домике на берегу синего моря, где по вечерам на закате можно читать счастливую книгу.

– А кто её мать? – спросил Максим.

– Она, как бы это тебе сказать, ну, – задумался его друг. – Довольно известная актриса.

Это была улица, где они говорили, Максим и его друг, Евсей, и улица уходила вдаль, и они шли по этой улице, и улица незаметно изгибалась и уходила вниз, вниз, потому что Земля была круглая, и если бы они так дальше и шли, то они бы вернулись к началу, и они бы всё поняли и им не надо было бы проживать эту историю и они могли бы прожить другую, более счастливую.

– А как её имя?

– Имя или фамилия?

– Она, как и Айтэ, из Литвы?

– Нет, она русская, это отец Айтэ из Литвы. Так тебе понравился концерт?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.